

**М.В. Добужинский**

# **Воспоминания**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82-94  
ББК 63.3-8  
М11

М11 **М.В. Добужинский**  
Воспоминания / М.В. Добужинский – М.: Книга по Требованию, 2023. – 550 с.

**ISBN 978-5-517-95541-8**

Немного найдется людей в нашем художественном мире, которые не знали бы автора книги "Воспоминания". Объем литературного наследия Добужинского достаточно велик: художественная критика, теоретические статьи, мемуары. Самобытный внутренний мир, богатый духовными переживаниями, общение с крупными деятелями отечественной культуры - Все это явилось для Добужинского материалом для воспоминаний. Репринтное издание по технологии print-on-demand с оригинала 1987 года.

**ISBN 978-5-517-95541-8**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2023  
© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2023

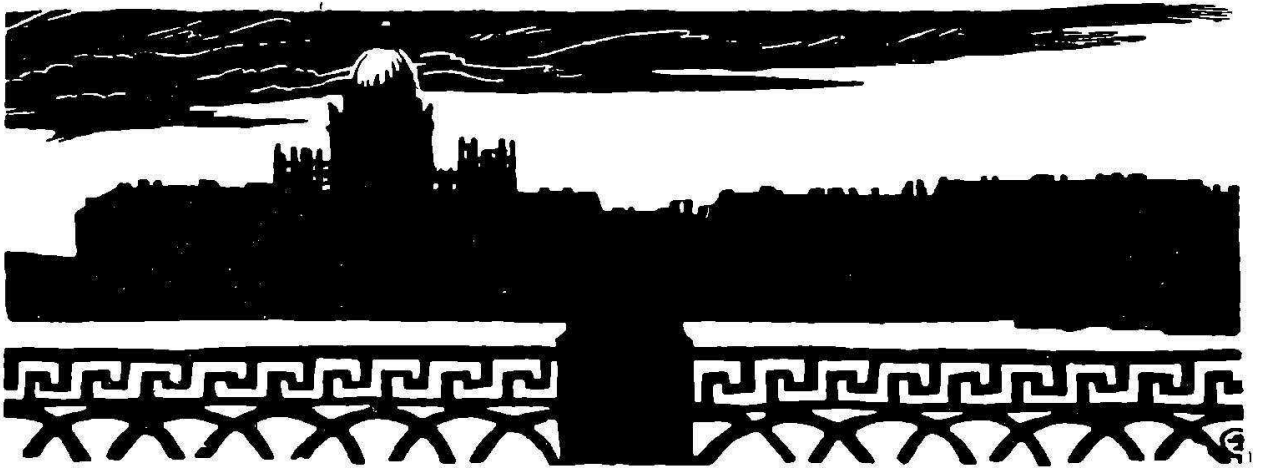
Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.





*Памяти моего отца*<sup>1</sup>

## ПЕТЕРБУРГ МОЕГО ДЕТСТВА



се мое детство, до одиннадцатилетнего возраста, я прожил с моим отцом в Петербурге, в большой казенной квартире на Выборгской стороне, в доме Михайловского артиллерийского училища<sup>2</sup>.

Перед моими окнами были запасные пути соседнего Финляндского вокзала<sup>3</sup>, с красными товарными вагонами и длинными железнодорожными складами, а на горизонте виднелся тонкий силуэт Смольного и серебрилась полоска Невы. Вдали высились заводские трубы, и ранним утром я любил прислушиваться к протяжным и печальным фабричным гудкам. Мне интересно было глядеть, как медленно двигались по рельсам вагоны, сталкиваясь буферами, и забавлял меня маневрирующий паровоз с тогдашней смешной трубой в виде толстой воронки. Все это были самые ранние мои впечатления.

Из окон моих я видел дважды пожары и с восторгом смотрел, как пылали деревянные дома и бушевало пламя (но почему-то не было страшно), а раз пришлось увидеть и весьма замечательное и единственное явление: я уже шел «к Морфею» (как любил выражаться мой папа), но он меня поставил на подоконник и, показав на совершенно пурпурное небо, объяснил, что это, как тогда утверждали, пепел от извержения кратера Кракатау, прилетевший из страшно далеких стран, который взвился выше облаков и теперь освещался заходящим солнцем<sup>4</sup>, — что я и запомнил.

Я тогда уже знал много про дальние страны, папа мне прочитал «Похождения Робинзона», и я мечтал стать путешественником, «как Миклуха-Маклай». Папа мне о нем тоже рассказывал. И я повторял (должно быть, у маленького это звучало забавно): «Миклуха-Маклай знаменитый русский путешественник».

Внизу, перед самым нашим огромным домом, был еще узенький «черный» двор, который отделялся от железнодорожного «парка» дровяными складами и низеньким кирпичным флигельком. Этот домик под моими окнами постоянно меня занимал — кто там живет? — и я приставал с вопросами к своей няне<sup>5</sup>. Она равнодушно отвечала: «Жильцы». Слово было непонятное, и я воображал, что это какое-то особое племя. На этом дворе стояли решетчатые сараи и конюшни. Когда я был еще совсем маленький, тут же в коровнике жила наша собственная корова! Как патриархальна еще была тогда петербургская жизнь. . .

На черный двор, куда выходили окна всех кухонь, забредали разносчики и торговки и с раннего утра распевали на разные голоса, поглядывая на эти окна: «клюква-ягода-клюква», «цветы-цветики», «вот спички хорош — бумаги, конвертов — хорош спички», «селетки голландские — селетки», «кильки револьские — кильки»! И среди этих звонких и веселых или окрипших голосов гудел глухой бас татарина: «халат-халат» или «шурум-бурум». Сквозь утренний сладкий сон я уже слышал эти звуки, и от них становилось как-то особенно мирно, только шарманка, изредка забредавшая на наш двор, всегда наводила на меня ужасную грусть.

Зимой звуки эти заглушались двойными рамами. Между стеклами клали белую вату (и было похоже, точно там лежал снег), и всегда по ней были разбросаны мелкие отрезки толстых разноцветных шерстинок (до чего это было наивно и мило), и ставились стаканчики с кислотой, чтобы не потели и не замерзали стекла. Они все-таки замерзали, и какие красивые узоры на них появлялись! («Это нарисовал Дед-Мороз», — говорила няня, и я верил). А когда в одно прекрасное утро все кругом — и крыши, и все выступы, и карнизы оказывались покрытыми пушистым, сверкающим на солнце снегом — так уютно было глядеть в окна моей теплой детской на знакомый вид, вдруг ставший совсем новым и каким-то веселым. Наступала зима с ее радостями.

Окна других комнат выходили на запад и на огромный, как площадь, внутренний двор Михайловского училища, и из нашей залы я мог видеть сквозь листву комнатных растений (наш «ботанический сад»), как за длинную крышу напротив и за ровную линию бесконечных дымовых труб закатывается красное солнце.

На этом дворе, укрытом от всех ветров, мы гуляли с няней, когда стояла плохая погода, водили же меня подышать воздухом каждый день, хоть ненадолго. Тут мы прогуливались по тротуару, который шел вдоль всех четырех стен казенного дома, но и в этой скучной прогулке было маленькое развлечение — посмотреть через решетчатые ворота с черными чугунными орлами на нашу Симбирскую улицу<sup>6</sup>, где сквозь пики решетки видны была дребезжащая конка, спящие на козлах извозчики, разноцветные вывески мелочной и бакалейной торговли и золотой крендель немецкой булочной.

Весной, в теплые дни, на нашем пустынном дворе с каменной мостовой (между булыжниками уже пробивались чахлые травинки и листики ромашки) я играл с мальчиками соседних квартир, и двор становился моим, я «овладел» им и знавал все закоулки, изучил и все широкие лестницы

нашего офицерского флигеля, бесконечные гулкие коридоры, которые тянулись вдоль всех трех этажей аракчеевского дома. На каменных лестницах с плоскими широкими ступенями (посредине была выемка, источенная ногами) всегда, даже в жаркие дни, был приятный холодок. Пахло кошками и кухонным чадом, наверное, как и в дни самого Аракчеева (дом был выстроен в 1820-х годах)<sup>7</sup>.

В дальнем углу двора низенькая дверь вела в узкий и таинственный подвальный коридор, через который был выход к набережной Невы — на площадку перед фасадом училища. Тут стояли пушки на колесах и в ясный день прогуливались и резвились веселые юнкера без фуражек. Я неизменно попадался моему врагу — одному краснощекому, стриженному ежиком юнкеру, нашему родственнику, который меня всегда дразнил и пугал.

На этом кусочке набережной около Литейного моста было интересно глядеть на разные небольшие парусные суда, которые там причаливали, и рассматривать их снасти. Когда я уже научился морских приключений, я все мечтал увидеть у нашей набережной какой-нибудь настоящий трехмачтовый корабль с парусами, прибывший из-за моря, или хоть какую-нибудь шхуну или бриг с иностранным вымпелом. Однажды действительно дождался и с восторгом увидел английский флажок на какой-то маленькой яхте, отшвартовавшейся тут для моего удовольствия.

Обыкновенно ежедневная наша прогулка с няней была через Литейный мост, по Литейному проспекту до Невского и обратно — конец немалый, а иногда и по тихой и провинциальной Выборгской стороне к Арсеналу<sup>8</sup>.

Если мы шли этой последней дорогой, по Симбирской улице (вспоминается она всегда запушенная снегом), то проходили мимо маленькой лавочки в заборе около нашего дома, где седой, как лунь, добрый дедка в нагольном полушубке (с узором на груди) продавал семечки, орехи и чудесные сладкие черные стручки с овальным блестящим и нераскусимым бобом внутри — мое любимое лакомство. И всегда от старика я слышал ласковое словечко.

Когда наш путь лежал через Литейный мост, я видел широкий простор Невы, Петропавловскую крепость с чуть заметным флажком на кронверке и острый золотой шпиль с ангелом наверху, видел белые колонны далекой Биржи<sup>9</sup>, плоский понтонный Троицкий мост<sup>10</sup> и теряющийся в отдалении тесный ряд дворцов — с младенчества мне родной и любимый вид.

Когда шел лед, с моста восхитительно было смотреть на плывущие льдины, которые вкусно раскалывались пополам о мостовой бык, и казалось, что сам плывешь вместе с мостом им навстречу. А когда под аркой моста проходил буксир, тянувший барку, и его дымящая труба вдруг загибалась назад, забавно было очутиться в темном облаке дыма, от которого першило в горле.

Мне очень нравились толстые нарядные перила моста и их зеленые русалки с рыбьими хвостами, которые держали в руках герб Петербурга, и, проходя, я всегда до них дотрагивался. Также я любил мимоходом по-

гладить и страшную голову Горгоны на низенькой решетке Летнего сада и храбро положить палец в ее раскрытый зев.

С нашего моста вечером (если я откуда-нибудь возвращался домой с моим папой) открывалось чудесное зрелище: по всем набережным Невы тянулись бесконечные ровные цепочки фонарей, и вдали их огоньки сливались в одну тонкую нить, которая всегда дрожала и переливалась, а когда было тихо на Неве, от каждого фонаря в воду опускалась острая и длинная игла.

Зрелище это меня и притягивало, и веселило, и наполняло каким-то смутным чувством — я не понимал, конечно, еще всей грусти и таинственности — словом, поэзии — этой петербургской ночной красоты.

Посреди этих живых золотых нитей и бус сиял белым и неподвижным светом ряд фонарей возле дворцов — это было первое электричество в Петербурге. Но еще всюду горели газовые фонари, и живое их пламя то приседало от ветра, то опять разгоралось (по вечерам по улице бегал фонарщик с лесенкой и взбирался на каждый фонарь его зажигать своим фитилем).

Но вскоре засветились впервые на нашем Литейном мосту лампы Яблочкова (отец однажды принес и показал эту странную двойную свечу), а затем зажглось электричество и на Невском проспекте (мой дядя с восторгом принес нам новость: «Теперь ночью на Невском можно читать газету»). Дуговые фонари шипели, гудели и иногда роняли красную искру, и молочно-розовый их свет, искрившийся на снегу, мне казался совершенно волшебным.

Иногда мы делали с няней наше «путешествие» в город на конке или по Захарьевской улице<sup>11</sup> до Невского, или по Литейному проспекту. По Захарьевской и дальше по Знаменской<sup>12</sup> мы ездили в маленькой однолошадной конке, которая тащилась очень медленно, и на разъездах ждали встречного вагона мучительно долго. В этом вагоне четыре самых передних места и стул между ними стоили по четыре копейки, другие сидения — по шесть, и все норовили сесть впереди. Я терпеть не мог сидеть на стуле на виду у всех. На Литейном конка была в две лошади с «империалом» и вагоны были синего цвета, зимой верхние пассажиры империала от холода неустанно барабанили ногами по потолку. Запомнилось, что внутри вагона между окнами были узенькие черные зеркала, а под потолком стали появляться объявления («Саатчи и Мангуби» — папиросы и табак с изображением усатого турка — и «Лаферм»). И кучер, и кондуктор, один на передней площадке, другой на задней, постоянно отчаянно звонили, дергая в подвешенный на пружине колокольчик. Первый трезвонил зевакам, задний давал сигнал кучеру, чтобы остановиться или двигаться дальше. На обратном пути к нам на Выборгскую, чтобы одолеть подъем на Литейный мост, прицепляли около Окружного суда<sup>13</sup> еще одну лошадь со всадником — мальчишкой-форейтором — и затем с гиком и звоном мчались в карьер. На мосту мальчишка отделялся и, звеня сбруей, ехал трусцой назад. Зимой эти форейторы, хотя и укутанные в башлыки и в валенках, жестоко мерзли. Помню, раз мой папа сжалился

над таким мальчишкой и отдал ему все булки, которые вез домой от Филиппова.

Но на конке ездить было очень скучно, и куда интереснее было идти с няней в город пешком.

Во время этих прогулок по Петербургу меня занимали всевозможные мелочи: вдоль тротуара стояли низенькие гранитные и чугунные тумбы, зимой на них лежал круглыми шапками снег, и было приятно по дороге сбить эту шапку или сделать маленький снежок. На уровне моих глаз я постоянно видел на прибитой к стене красной жестянке таинственную надпись «ОГО», точно кто-то грозил (это было просто «Общество газового освещения»). Глядя под ноги, и там я видел много интересного, я старался, шагая, попадать ровно с плиты на плиту, хотя маленькому это было трудновато.

Под своими ногами на корявых известковых плитах панели я иногда замечал странные отпечатки и какие-то окаменелости. Позже мой гувернер, студент-медик, меня научил, что это моллюски «ортоцератиты силурийской формации», — и мне нравилось произносить это ученое название.

Когда я стал грамотный, то прилежно, по складам, читал надписи всех встречных вывесок, и няня или папа, когда с ними гулял, терпеливо ждали, когда я кончу.

А как занятно было рассматривать то, что было изображено на вывесках встречных лавок и магазинов! На «мясной торговле» красовался бык на золотом фоне, стоящий на обрыве, внизу же мирно сидел барашек. На вывесках «зеленой и курятной» торговли были аппетитно нарисованы овощи — кочан капусты, морковка, репа, редиска или петухи, куры, утки, а иногда индюк с распущенным веером хвостом, а у «колонияльного» магазина — ананасы и виноград. Мелочные же лавочки были неизменно украшены вывеской с симметрично расставленными сахарными головками в синей обертке, пачками свечей и кусками «жуковского мыла», с синими жилками, в центре же красовалась стеклянная ваза с горкой кофейных зерен, а на фоне витали почтовые марки, почему-то всегда по три вместе. Мне также очень нравилась нарядная вывеска красилен Клиодта, где развевались разноцветные ленты, приятно закручивались свертки материй и кудрявились три страусовых пера разного цвета.

Меня занимали и окна «гробового мастера» Шумилова — там были выставлены гербы на овальных щитах, настоящие белые и черные страусовые перья и другие траурные украшения и длинные картинки, изображающие похоронную процессию с лошадьми в пополах и с факельщиками около колесниц. Все это, как и все те живописные петербургские вывески, были традициями далекого прошлого. А совсем старинными были и золотая виноградная гроздь, висевшая над виноторговлей «К. О. Шитт 1818» (всегда в подвале углового дома), и золотой ботфорт со шпорой (сапожник И. Гозе — папин поставщик!) на Владимирской, и столь привычные в Петербурге золотые кренделя под короной немецких булочных. . .

На Литейном проспекте мне был по виду знаком, конечно, каждый дом, и всегда занимал мое воображение загадочный нежилой серого мрамора дворец против Симеоновской<sup>14</sup>, с его пустыми громадными зеркальными окнами (ходила легенда, что там якобы жила Пиковая дама!), как и другие таинственные для меня барские особняки.

Мне нравился и громадный черный полосатый дом Мурузи в мавританском стиле, и его чугунные навесы у подъездов с удивительными узорами и арабскими надписями<sup>15</sup>. Дом был замечателен для меня тем, что там была большая парикмахерская, где меня впервые остригли (раньше это делали домашним способом), и я попросил парикмахера: «Пожалуйста, сделайте мне такую же плешку, как у моего папы» — могу представить, как я умилил и развеселил отца.

Конечно, проходя мимо Артиллерийского управления<sup>16</sup>, я задерживался у старинных зеленых пушек, стоящих визави Окружного суда, точно они собирались в него палить. Пушки были выстроены в порядке их роста, и оба симметричных ряда кончались маленькими пузатыми мортирами, которые особенно мне нравились. Интересно было рассматривать выпуклые украшения на дулах, колесах и лафетах, гербы, ручки в виде дельфинов и непонятные надписи вязью.

Если был большой праздник или Великий пост, мы с няней, гуляя по Литейному, по дороге иногда заходили в маленькую, изящную Сергиевскую церковь с золотым шпилем на колокольне и с синим куполком в частых золотых звездочках, или в Спасо-Преображенский собор<sup>17</sup>. Няня всегда у иконы ставила копеечную свечку. Этот белый собор с черными куполами был окружен оградой из поставленных стоймя, дулами к земле, громадных черных пушек, отнятых когда-то у турок. Между этих «столбов» висели тяжелые цепи, а в ограде росли старые ветвистые деревья. В Сергиевской церкви я помню панихиду по только что убитому Александру II. Церковь была переполнена народом с горящими свечами. Многие плакали, няня тоже, и я вместе с ней заплакал.

Зимой я с завистью смотрел, как дворники особыми зубчатыми лопатками скалывали ледок на тротуарах, и он отскакивал аппетитными пластинками. Иногда панель загоразживалась рогатками — дворники сбрасывали с крыши снег, и тогда надо было сворачивать на середину улицы, и какой это был особенный, петербургский звук — гулко бухавшие снеговые глыбы! Когда выпадал слишком глубокий снег, его усиленно счищали, и кучи его, иные с воткнутой лопатой или метлой, тянулись вдоль всех тротуаров.

Весной целые полки дворников в белых передниках быстро убирали снег с улиц (любили острить, что дворники делают весну в Петербурге). Тогда же появлялись и другие уличные звуки, когда растаявший лед вдруг катастрофически и неожиданно рушился внутри водосточных труб в зеленые кадки на тротуарах с пугающим прохожего грохотом. И сколько вообще разнообразных звуков неумолчно раздавалось на петербургских улицах! Звенел на конках звонок кондуктора, заливались колокольчики — дар Валдая — и бубенчики на проезжавшей тройке (я долго думал, что «дарвалдая» значит «звеня»), гудели по праздникам церковные колокола,

нередко проходила с трубами и барабанами военная музыка, а по дворам распевали на разные лады разносчики — и все было мелодичным. Лишь было в самую душу, когда страшные ломовики везли по булыжной мостовой адски грохочущие рельсы.

Летом петербургская улица громыкала, и только на улицах, замощенных торцами (Невский, Большая Морская<sup>18</sup>, набережные и некоторые другие места), было тише, лишь раздавались крики «ванек» и кучеров: «Берегись!» Резиновых шин еще не было, и стук колес по камням мостовой, цоконье копыт и конское ржание были самыми привычными звуками. Чтобы ослабить уличный шум, часто возле дома, где был больной, стлали солому, и тогда стук колес вдруг становился мягким и шуршащим.

Летом мостовые повсюду чинились, деревянные торцы заменялись новыми, шестиугольные шашки тогда образовывали целые баррикады — и красные рогатки загораживали половину улицы. Вокруг строящихся домов возвышались временные заборы и «леса», которые надо было обходить с опаской. По деревянным сквозным настилам каменщики таскали на самый верх постройки кирпичи, согнувшись в три погибели под тяжелой ношей, и мне было даже страшно смотреть. На верху лесов всегда был прикреплен крест во избежание несчастий, маленькая березка или засохший венок.

Петербург в летнее время пустел, «господа» разъезжались на дачи и по «заграницам», и хозяевами города делались кухарки, дворники и горничные. На лавочках у ворот лутили семечки, слышалась гармоника, веселые маляры, которыми был полон летний Петербург, горланили свои песни. Это был «Питер».

Наши ежедневные прогулки имели иногда маленькую цель — чаще всего мы ходили в булочную Филиппова, на угол Невского и Троицкой<sup>19</sup>, купить мою любимую слоеную булку, подковку с маком или тмином и солью или же калач (у него под клапаном я любил находить белую муку, и ручка его аппетитно хрустела). Иногда у Филиппова я лакомился пирожками с вареньем, капустой или грибами. К этому громадному и всегда страшно горячему пирожку полагалась бумажка, чтоб не пачкались от жира руки. Особенно приятно было съесть такой горячий пирожок в мороз. Часто мы шли с няней и дальше по Невскому, к Гостиному двору.

Посреди Невского бежала конка — был один путь и разъезды. Тут вагон был красного цвета и наряднее, чем на других улицах, и двигался шибче. Рядом с конкой вдоль Невского тащились допотопные «щипинские» omnibusы («Сорок мучеников») и длинной вереницей плелись «ваньки», держась ближе к тротуару. Их перегоняли слева лихачи, кареты, ландо, «эгоистки» (узенькие дрожки или сани на одного седока) и другие собственные экипажи. На кушаке кучера этих экипажей часто красовались прикрепленные над толстым задом армяка большие круглые часы, чтоб барину удобнее было следить за драгоценным временем.

Придворные кареты отличались золотыми коронами на фонарях, а кучер, одетый по-русскому, всегда был украшен медалью и издали уже

было видно, что мчится кто-то из царской фамилии. Городовые тогда подтягивались, и на перекрестках движение сразу останавливалось.

На придворных экипажах с английской упряжью красовались кучера и камер-лакеи в треуголках и алых ливреях с золотым позументом, украшенным черными орлами, с пелеринкой и белым пуховым воротником. В дождь ливреи были из белой блестящей клеенки, что было очень элегантно. Особенный был выезд у посланников: у кучера на спине армяка был всегда треугольник из золотого позумента, а верх шапки был голубой, бархатный и «рогатый», как бы «двууголка». Рядом с кучером сидел егерь с развевающимся плюмажем из петушиных перьев на треуголке и с широкой портупеей через плечо (маленьким я думал, что это и есть сам посланник, такой нарядный).

Были очень красивые сетки на лошадях (обыкновенно синие, редко красные), предохранявшие седока от снежной ископыти и комьев грязи. У саней же бывали пухлые медвежьи полости (покрывала для ног) с кистями, которые волочились по снегу. Существовали еще запятки — у парадных саней и у карет сзади стоял, держась за особые петли, рослый лакей в ливрее и цилиндре с кокардой сбоку его. У иных был огромный медвежий воротник — пелерина. На запятках же саней царицы Марии Федоровны, часто проезжавшей по Невскому, всегда высился великолепный камер-казак в красном кафтане с откидными рукавами и в высокой папахе с кистями.

Порой по Невскому лихо мчалась тройка с бубенцами — у кучера была круглая шапочка, надвинутая на лоб, с павлиньими перышками вокруг тульи, мелькала белая фуражка офицера и боа или меховая ротонда его дамы...

А иногда, нарушая все благообразие Невского и перегоняя чинный поток экипажей, дико мчалась от Почтамта к Николаевскому вокзалу<sup>29</sup> почта, громыхая построками и пугая извозчиков, — целый поезд страшных старомодных рыдванов или, зимой, чудовищных саней («макшаны»), запряженный четверкой с фореитором и с почтарями в башлыках, опоясанными саблями.

Невский проспект был необыкновенно наряден своей толпой, где больше всего было военных, носивших самые разнообразные формы. Маленьким я, конечно, глядел во все глаза на мелькавшие в толпе черкески и бурки, офицерские фуражки разных цветов, треуголки, каски с белым или черным султаном или двуглавым орлом наверху. Однажды я даже остановился от восхищения: по улице шел настоящий витязь в шишаке, в кольчуге и с колчаном (тогда еще существовал отдельный отряд в конвое царя — кавказская сотня, носившая старинные доспехи хевсуров). А наряду с этой нарядной толпой какими только типами, настоящими деревенскими, не пестрела петербургская улица моего детства!<sup>1\*</sup>

<sup>1\*</sup> Лишь в некоторых парадных местах столицы, как на Дворцовой набережной, в Летнем саду (и на Невском и Морской, кроме утренних часов), одуревшая и напуганная тогда полиция не пускала людей, одетых по-простонародному.

Извозчики — петербургские «ваньки», неотъемлемая принадлежность улицы, носили всегдашний, традиционный, спокон века присвоенный им мужичий синий армяк до пят и клеенчатую шляпу — приплюснутый низкий цилиндр с раструбом и загнутыми полями (непрерменно с медной пряжкой впереди), а зимой — меховую шапку с квадратным суконным, а то и бархатным верхом. И какие у них были узорчатые и разноцветные пояса! Сидя на облучке своих саней или дрожек, они поджидали седока и приглашали прохожих: «Поедем, барин!» или «Резвая лошадка — прокачу!» Их исконными врагами были ломовые извозчики, никогда никому не уступавшие дороги («ванек» они презрительно обзывали «гужееды», «гужом подавился!»), — и когда медленной лавиной двигался кортеж их до отказа нагруженных возов или громадных саней, никакая сила не могла их остановить, иногда даже городовые пасовали. Эти дикого вида «ломовики», держа вожжи, медленно выступали рядом со своими такими же страшными и огромными битюгами, увешанными сбруей с бляхами, дуги же бывали необыкновенно затейливо и ярко расписаны. Всегда это были мрачные бородатые мужики, которые носили или засаленный картуз, или треух и неизменно бывали наряжены поверх тулупа в красный жилет нараспашку — и любопытно, что это были всегда старые придворные жилеты с двуглавыми орлами на истрепанном позументе! Этот замечательный костюм еще дополнялся брезентовым фартуком, богатырскими кожаными рукавицами и какими-то веревками и крючками, висевшими сбоку. Охтенка-молочница «спешила», как и во времена Пушкина, но уже не «с кувшином», а с металлическими бидонами на коромысле, но на голове был под платком повязан прежний белый повойник, а юбка была всегда в мелких полосках лилового, красного и оранжевого цвета.

Шерстяные платки на плечах у деревенских баб, всюду сновавших по городу, обычно были в крупную клетку — как это тоже было привычно глазу! И каких только тут не было сочетаний — синего с оранжевым, зеленого с красным, серого с черным... А сколько еще всевозможных продавцов и уличных ремесленников заполняло улицу — разносчики, сбитенщики, точильщики, стекольщики, продавцы воздушных шаров, татары-халатники, полотеры — всего не перечесть, — и их белые передники, картузы, зипуны, валенки (иногда так красиво расписанные красным узором) и разные атрибуты и инструменты простонародья, как все это оживляло и красило картину петербургской жизни <sup>21</sup>!

Самым нарядным уличным персонажем была кормилица у «господ». У них была как бы «парадная форма», квазикрестьянский костюм весьма театрального вида (костюм сохранился и позже, вплоть до самой войны 14-го года!). И постоянно можно было встретить чинно выступавшую рядом со своей по моде одетой барыней толстую, краснощекую мамку в парчевой кофте с пелеринкой, увешанную бусами и в кокошнике — розовом, если она кормила девочку, и голубом, если мальчика. А летом ее наряжали в цветной сарафан со множеством мелких золотых или стеклянных пуговок на подоле и с кисейными пузырями рукавов. На набережной и

в Летнем саду среди корректной петербургской толпы такая расфуфыренная кукла была обычна, и глаз к ней был привычен <sup>2\*</sup>.

Иногда, гуляя с няней, я навещал на службе моего папу — его канцелярия помещалась на углу набережной и Литейного <sup>23</sup>, — и мою прогулку я часто продолжал с ним.

Когда я появлялся в канцелярии, на меня посмотреть сходились сослуживцы отца, офицеры — до сих пор помню лица и фамилии этих ласковых со мною, бородатых, усатых, франтоватых и мешковатых артиллеристов. Меня тут же засаживали рисовать, снабжали карандашами (особенно я любил толстый синий и красный) и казенной бумагой для моего рисования.

Чаще всего мы шли с отцом по набережной к Летнему саду. В саду мы прохаживались вдоль аллей по деревянным мосткам, статуи нимф и богинь уже запрятаны были в тесные деревянные будочки, а в голых сучьях деревьев каркали и шумели крыльями вороны. Мы всегда останавливались у памятника дедушке Крылову, и я рассматривал фигурки из его басен.

Гуляя с отцом по Литейному, мы нередко заходили в магазин Девшина на углу Симеоновской в памятном мне красном доме, где отец всегда покупал бумагу, краски и карандаши для моего рисования (позже и учебные тетради), все это я имел в изобилии с трехлетнего возраста (а отец бережно собирал мои «произведения», и у него накапливались целые альбомы).

Как я любил эту тесную подвальную лавочку! Там была волшебной красоты бумага — и всех цветов, и узорчатая, и чудная мраморная, и тисненая, и золотая, и серебряная, и большие немецкого издания листы для вырезания и склеивания разных домиков и целых замков, и выпуклые картинки для наклеивания, и заманчивые декалькомани <sup>24</sup>. И как было занятно, придя домой, намочить листок, придавить к бумаге и бережно тереть с обратной стороны до катышков, пока под ними не появится яркая, блестящая картинка!

На том же Литейном проспекте часто отец заглядывал со мной мимоходом в переплетную или к букинисту, чтобы отдать или взять связку книг. Его библиотека все время росла, и, став немного постарше, сколько часов я проводил в папином кабинете, рассматривая [...] его чудные книги с картинками, альбомы и иллюстрированные журналы [...] А у меня в детской уже росла горка моих собственных книжек — они начались со «Степки-Растрепки», «Гоши — долгие руки», «Сказок Андерсена» и «Bibliothèque rose» <sup>25</sup>, а когда мой мир расширился до Жюль Верна, — это уже была маленькая библиотечка.

<sup>2\*</sup> Для этих «пейзанок» места эти не были запретными, как для иного простого люда, «народа». Курьезные контрасты были всегда как бы традиционной чертой Петербурга, и на литографиях 1820—1830-х годов внимательные художники особенно любили подчеркивать эти забавные сочетания: амазонка и баба с коромыслом, офицер и кормилица, столичный франт и возница-деревенщина <sup>22</sup>.